



Татьяна Сопина

г. Вологда, Россия

Лунный глаз Сыну

«И лунный глаз сквозь веки туч глядит задумчиво на землю...»

Михаил Сопин

Во дворе с лопухами (Предыстория)

Мне было тогда 27 лет. Я еще не вполне оправилась от достаточно тяжелой душевной травмы. Мечтала сменить место работы (перейти из вечерней школы в редакцию), пробовала себя в творчестве. Друга юности, поэтесса Нина Чернец ввела меня в круг своих знакомых, которых можно было определить как богему провинциального уровня. Мне нравились их разговоры, но шокировало поведение. Шиком считалось проехать на автобусе, распивая дешевое вино «из горла» (в том числе девушкам), орать в общественном месте стихи... Помню, как однажды поэтесса Наталья Чебыкина, сколько-то проучившаяся в Литературном институте, «в подпитии» усевшись на стуле задом наперед, стала уверять компанию, что у первого председателя Совнаркома Якова Свердлова было восемьдесят внебрачных детей.

— Но как же, — наивно удивилась я. — Ведь он умер совсем молодым (двадцать шесть, кажется, лет), и вообще был занят революцией, все время в ссылках.

— В том-то и дело, что в ссылках, — подхватила Наталья. — Как место ссылки сменит...

Однажды мы пили-беседовали в очень достойном месте — у Луизы. Это была известная всему богемному миру Перми убогая квартирка в две крохотные комнатки, в старом доме под отвесной трибунной стеной стадиона. Из-за этой уходящей в небо серой стены окна всегда были затемнены, создавалось ощущение подвала. Луиза жила с дочкой лет восьми. Все знали, что у нее 8 марта повесился муж. («Почему именно восьмого? — горько недоумевала Луиза. — Хотел сделать мне подарок?»). С тех пор она пила «по-черному». И собирала у себя друзей. Она жила по соседству с Пермским книжным издательством, и все обиженные, отвергнутые, непечатаемые шли сюда. Справедливо заметить, что критика в этом импровизированном обществе порой была конструктивной, послушать ее считалось полезным. (Потом здесь же-

ланным гостем будет Михаил, но это я знаю только с его слов — сама там уже не бывала, потому что была занята детьми и принципиально не водила дружбу с компаниями, где пил муж).

...Когда мы вошли в Луизин «подвальчик», дохнуло сыро-кислым. В первой, проходной комнате обустроилась раскладушка для ночлега дочки. Это что же, мы тут будем пить-курить, а ребенок рядом спать? Но, как говорится, «не лезь в чужой монастырь...»

Описывать тот вечер нет смысла, скажу только, что к концу его у моей Нины в объятиях заснул некогда симпатичный мне художник, а более-менее соображающих (трезвых) оставалось всего двое: я и наголо обритый высокий молодой человек. Мы обменялись взглядами и вышли вместе.

Молодого человека звали Алексеем. Он был безукоризненно вежлив, не болтлив и вообще производил наилучшее впечатление. Оказалось, что нам по пути — наши дома располагались в одном квартале старой застройки! Алеша проводил меня до калитки, на том и расстались.

Напомнила об этом эпизоде через полгода Нина Чернец. Мы сидели во дворе огромного, заросшего лопухами двора с покосившимся нужником посередине. Из врастающих в землю дверей подъездов двухэтажных домов-развалюх выскакивали дети, женщины выносили тапки с бельем и полоскали тут же, на табуретках...

— Замуж выхожу, — сказала Нина не очень-то весело. — За Алешку Поварницына. Да ты его знаешь. Помнишь, вы еще вместе тогда от Луизы ушли?

— Так это же замечательно! Он мне очень понравился. Из армии?

— Из тюрьмы. Ну да неважно. Я бы и не пошла, да «залетела», родить хочу... Курить бросаю, — зло скомкала она вынутую по привычке сигарету. — Хватит мотаться. Так что Алешка теперь — моя судьба.



Некоторое время мы сидели на лавочке молча.

— Поторопилась я с Алешкой, — вдруг грустно сказала Нина. — Там, в лагерях, получше есть... Друг его, Михайлом зовут. Только ему еще долго сидеть — три года. Стихи пишет. Хочешь, тебе его подарю?

«Вот уж спасибо», — мысленно вздохнула я, а вслух сказала, что подарков таких мне, конечно, не надо, но если пишет стихи — интересно бы почитать.

Однако Нина уже что-то затеяла. Это потом я узнаю, что все заключенные мечтают переписываться с девушкой, которая станет их надеждой, каким-то огоньком впереди. Естественное, хорошее желание. Очень скоро я получила от Михаила Сопина письмо в одну страничку, похожее на протянутую руку — не ответить было бы нехорошо...

Переписка

Вообще считается, что знакомиться по переписке опасно. Человек может представиться каким угодно, а у солдат-срочников таких «заочниц» может быть хоть десяток. Я сама однажды по просьбе случайной дорожной знакомой такое душевное письмо ее парню накатала — всю свою страдающую душу вложила... Никогда такое любимому человеку не посмела бы вручить.

С другой стороны, в письме творчески одаренный человек становится свободным, красивым, раскрепощается. Известно, что Марина Цветаева предпочитала любить и восхищаться (например, Рильке) только по переписке, а в жизни встреч даже не желала. Это тот случай, когда любовь становится словотворчеством, самовыражением. Но такое самовыражение невольно распространяется и на респондента, и тут уже сложные человеческие чувства все равно переплетаются...

В зрелости Михаил стал афористичным, жестким. А ранние его письма длинные и расплывчатые. Поток ищущего сознания, к тому же с массой грамматических и синтаксических ошибок: «могешь», «хотишь...» И только в стихах он становился определенным, как бы выкристаллизовывался:

*«Мне тридцать семь. А годы все спешат.
Боюсь, не стать бы белою вороной.
Опять завоет в безголось душа,
Как много лет назад над похоронной...»*

Я поначалу даже прочитывала прозаические части, как говорится, «по диагонали», и выписывала ошибки с разъяснением правил русского языка. Иногда это занимало больше места, чем само письмо. Но Миша не обижался, а с каждым письмом ошибок становилось меньше. Он поразительно быстро для своего возраста учился. И вообще всегда быстро и хорошо усваивал новое, хотя вот эта привычка — просить меня «проверить стихи на ОШИБЫ, расставить запятые» — осталась у него на всю жизнь.

В переписке мы «нащупывали» друг к другу поддержку — выясняли взгляды. Иногда я его провоциро-

вала: так, однажды намеренно выразила восхищение пламенным революционером и борцом за порядок Дзержинским. В другой раз, рассерженная бесконечно отрицательным отношением к миру, назвала его «пауком, плетущим в углу паутину для всего человечества». (Потом, познакомившись лично, мы будем эти моменты неоднократно вспоминать и смеяться, поддразнивая друг дружку).

Мы были очень разными по предыдущему опыту жизни. Он — еще подростком прошедший испытания Курской дугой, войной, с биографией, какой и присниться-то страшно... И я — интеллигентная наивная городская девушка, несмотря на свое трехлетнее учительствование на Ямале. Наверное, ему именно такую и надо было. Потом он признается, что на поселении у него одно время была некая Тамара из столовой, но это совсем не то, что искала душа...

Более всего поражали некие внезапно выплывающие из хаоса слов образы и афоризмы — в стихах:

*«...Березы, как белые пальмы
На грустной странице зимы.
И в память от прежнего вида
Почти невесомо, легко,
Плывут облаков пирамиды,
Как глыбы остывших веков...»*

Мне захотелось с ним встретиться. Хотелось написать о нем материал для газеты — какой начинающий журналист не мечтает об этом... сверхординарном. Может быть, посодействовать освобождению — ведь ясно, что не такой уж это опасный преступник, но человек талантливый, и ему еще отбывать целых три года!

Отношения с редактором газеты «Молодая гвардия», в которой я трудилась с осени 1967 года, были несколько напряженными. Но в мае 1968 года он ушел в отпуск, оставив в заместителях моего шефа, заведующего идеологическим отделом Геннадия Деринга. С Дерингом у нас было полное понимание, вот его я и



попросила несколько дней отпуска без содержания — слетать в Чердынский район для встречи с заинтересовавшим меня поэтом.

— Зачем без содержания? Я подпишу тебе командировку.

— Но там, может, и писать-то нельзя. Это лагерь...

— Ну и что? У тебя ведь может материал «не получиться»?

Перед отъездом зашла к Нине Чернец. Она уже родила дочку, которую в честь меня назвала Танькой. Моей поездке обрадовалась, одобрила. Все-таки она была искренне доброжелательным человеком!

— Только, — напутствует, — ты ему не отдавайся с первого раза.

(Боже! За кого она меня принимает? У меня и в мыслях-то такого не было — и не только «с первого»... Хотя на практике именно этот наказ я не выполнила).

И я отправилась на север, на поселение Глубинное Чердынского района, откуда приходили толстые конверты. Путь предстоял такой: до Соликамска — на поезде, оттуда — самолетом на пересыльный пункт Чепец (около получаса местным грохочущим «трясуном», вынимающим душу вон на каждой воздушной яме), или...

«...Или»

Потом я буду ездить и летать туда вплоть до лета 1970 года, когда Михаил освободился и приехал — но не к матери в Харьков, а ко мне в Пермь. Встречи происходили два раза в год — на Новый год и летом. Опишу сразу дорогу на Чепец, чтобы потом к этому уже не возвращаться.

С «трясуном» все ясно — вылеты по погоде, билеты — дефицит, лагерное начальство, их жены и родственники всегда вне очереди. Каждая атака на кассу — «езда в неизвестное». Однако обходилось: с боем, с нервами, но билеты добывала. Проще всего было в первый раз, потому что по командировке.

Однажды Чепец не принимал, но продали билет в Чердынь. Дальше, говорят, автобусы ходят... чего в Соликамске сидеть, тем более что ночевать негде и дней в запасе — дефицит? Однако самолет не долетел и до Чердыни — вернулся с полдороги из-за метели. Вообще я на «воздух» была по здоровью крепкая. Тот полет в Чердынь — единственный случай, когда в самолете сползла с сиденья на пол с гигиеническим пакетом в руках, а после посадки вывалилась на летное поле, пугая небо и землю... И тут оказалось, что

«открывают» Чепец. Собралась с силами и полетела снова.

Но самой памятной была зимняя дорога 1969 года «обратно». Стояла глухая нелетная погода. Я решила добираться из Чепца на Чердынь автобусом. Часа два он шел хорошо, а потом дорогу окончательно перемело. Машина сошла с твердого покрытия и стала. Водитель велел всем выйти и толкать, пока не нащупается дорога. И вот мы «выпали» в сугроб... Женщины (некоторые в ботиночках), подростки, дети. Делать нечего — навалились дружно, гуртом, и — по команде! А по обозначившейся в стороне твердой дороге здоровенные мужчины идут: в высоких меховых сапогах, новеньких овчинных полушубках. Покуривают, пересмеиваются. Лагерное начальство! Я потом с Мишей делилась:

— Как же им не стыдно было? Ведь женщины, дети...

— Они этого не понимают. Они нипочем не примут участия в физической работе, потому что все остальные для них — быдло. Они привыкли так вести себя с заключенными и на весь остальной мир смотрят так же...

Чепец

Что такое — Чепец? Это еще не зона. Но почти зона. Въезд-выезд свободный, но публика уже «та». Освободившиеся, но задержавшиеся с выездом, командированные (в том числе МВД), бывшие зеки, решившие остаться здесь, их семьи. Есть продовольственный магазин, столовая с типичным набором блюд времен глухого застоя. (Из повести Василия Аксенова: «Меня всегда поражало, по какой такой технологии в нашем общепите прекрасное мясо умудряются превращать в совершенно несъедобные «подошвы»-котлеты?»)

Просторный холодный и темный клуб потряс портретом В.И. Ленина: истинный татарин с бритой башкой времен хана Батыя, изображение в лаково-наивном стиле, вроде рыночных лебедей. В Перми за такое издевательство над вождем художника сразу бы выгнали, если не хуже.

Из Чепца, «лагерной столицы», в тупиковые поселения для заключенных расходятся одноколейки. Поселение — смягченный режим несвободы! Выйти заключенному на поселение — событие, которое

надо заслужить. Охрана не снята, но строем не гоняют. Можно иметь деньги, встречаться с родственниками, даже завести семью, но нельзя покидать границы зоны (расценивается как побег, а провинившийся возвращается в режимный лагерь). Там также остаются освободившиеся, оформляются на работу вольными. Каждый такой считает, что, поправив финансовые дела на хорошо оплачиваемом свободном лесоповале, он уедет в большой мир. Но деньги, как правило, пропивались, и мечта превращалась в пожизненный мираж.

Из Чепца в Глубинное ходит (не каждый день!) старенький тепловозик с двумя пассажирскими вагончиками. Вагончики не отапливаются, хотя ехать часа два. И всегда этот микропоезд опаздывает.

Впоследствии, в отсутствии поезда, мне, случалось, приходилось в Чепце ночевать, и тогда я находила приют в очень приветливой семье Мишиных знакомых. Муж сидел вместе с Михаилом, освободился, женился. Конечно, тоже считал, что пребывание здесь — временное. Как-то сложилась их судьба?

Прибыв в мае 1968 года в Чепец, я сразу пошла в комендатуру со своими обкомовско-редакционными бумажками. И тут начался прессинг: меня никак не хотели пускать дальше.

— Там бандиты, — нагнетают страсти, — убьют, изнасилуют...

Статьи перечисляют и прочее. Потом-то Миша объяснит, почему они так себя вели:

— Не ЗА ТЕБЯ, — говорит, — испугались, а ТЕБЯ. Ты же им документы от власти предъявила, а они знаешь как этого боятся! Можешь такое заметить, что им вовсе не хотелось бы обнаруживать. Лучше вообще не пускать.

Совсем уж забавная встреча произошла на улице, когда я бродила в ожидании поезда. Прицепились... двое, но запомнила только одного, грузина, его звали Михаил Поерели. Он произнес примерно такую речь:

— Сопина знаю. Хороший мужик. Но... я ничуть не хуже. Он — Миша и я — Миша. Оставайся!

— Но Сопин пишет стихи.

— Это я их пишу.

— ?!!

— ...То есть пишет, конечно, он, но темы-то, темы кто ему подсказывает? Я!!

(Потом я своему Мише скажу: «Тебе никак нельзя из этих мест выбираться. Кто же без Поерели темы для стихов подсказывать будет?»)

Подошел микропоезд, мне как особо доверенному лицу было разрешено ехать в кабине вместе с двумя машинистами. Кабина была удивительная, с огромным, совсем несовременным окном, в которое можно было высунуться едва ли не по пояс! Окно было распахнуто, и свежий, летящий навстречу ветер приводил в восторг. Но самое замечательное впечатление — от куропаток, которые сидели под кустами вдоль дороги и нисколько не боялись грохочущей по рельсам колесницы. Их здесь никто не стреляет.

Встреча

В Глубинном меня поселили в аккуратном гостиничном домике в одну комнату, для начальства, и приставили охранника. Сначала я думала, что это так и надо. Михаила вызвали не сразу. Мне надоело в домике, вышла на воздух и села поджидать на бревнышке. На мне был оранжевый плащ в черный горошек... Яркий, заметный.

Вдруг вижу — бежит, не очень молодой, на висках седина. Протягивает руку:

— Мишка.

И ведет себя так, будто мы сто лет знакомы.

(«Неужели, — думаю, вспоминая Нинины слова, — он надеется на что-то, кроме бесед на литературные темы?»)

Но вообще с ним как-то сразу стало очень легко. И... приятно. Идем по поселку, с ним все здороваются — и поселенцы, и охрана. Как в старину с сельским учителем. Уважают, значит. И это уважение невольно на меня перекидывается. Вроде для местного населения уже не я авторитет-интеллигент, а он, а я — как

приложение к нему. Гордость за спутника появляется! И вот что интересно: я еще никогда, ни с одним из моих прежних знакомых-мужчин не чувствовала себя в такой степени женщиной! Вся эта пермская богема по сравнению с Михаилом мелочью показалась.

Но решающую роль в нашем стремительном сближении сыграл охранник. Унизительный надзор над столь уважаемым человеком, как Михаил Сопин, мне показался настолько безобразным, что просто «придвинул» к совсем недавнему знакомому. В Перми мы, скорее всего, стали бы приглядываться друг к другу месяцами, если не годами. А тут вдвоем противостояли враждебному миру. Это был высокий миг, планка, взятая без разбега! И вот это впечатление на всю долгую супружескую жизнь осталось, заставляло искать понимание даже тогда, когда совсем трудно бывало.

К одному двору подошли — Миша с хозяином переговорил, и тот выводит из сарайки ручного медвежонка, мне показать. Медведицу в лесу подстрелили,



а медвежонка себе забрали. Жалкая, конечно, будет у зверика судьба...

К вечеру охраннику (молодому парню из призывников) стало стыдно за нами по пятам ходить. Сам стал отставать и тушеваться. Миша его в сторону отвел, переговорил, и он оставил нас в покое. А я попросила разрешения переселиться из начальственного домика на частную квартиру.

Миша сказал:

— Никогда не приезжай официально. Только — ко мне лично, ну, знаешь, как женщины к мужчинам ездят. И тогда до тебя никому из начальства не будет дела. Ничего не бойся — здесь тебя никто не тронет.

Потом я так всегда и делала.

Глубинное

Железная дорога из Глубинного — в один конец, это же обратное начало. Других путей сообщения нет. С трех сторон поселок обступает тайга, уходящая по окружности горизонта на предгорья Северного Урала. Поселение создано ради лесоразработок, на которых трудится как пригнанный контингент зеков, так и вольнонаемные (последние большей частью обслуживают технику). В начале разухабистой колеи лесоповальной просеки — плакат, белым по кумачу: «Добросовестный труд — путь на свободу». Рядом трактор вольняшки застрял. В грязи. Как символ «пути на свободу».

Заклученные жили в досчатых бараках, расположенных большим четырехугольником. Я там не была ни разу, и даже не приближалась: Миша не хотел. На время приезда родственников и «подруг» можно было снять комнату с отдельным входом, но Миша этим тоже не пользовался, и вообще ничем — по официальной линии. О жилье договаривался так, по знакомству.

Далеко в лес не уйдешь, потому что буреломы. Мы с Мишей пытались гулять — остановились у дерева, на котором он обратил мое внимание на царапины, следы когтей огромного медведя. Дальше было не пройти, но не из-за медведя — просто непроходимо. Сохранился фотоснимок — Миша в рост у корней вывороченного дерева. Корневая основа чуть ли не в полтора раза выше его головы.

Столовую древесину из Глубинного вывозили товарными составами по той самой однокорейке, а вывороченные корни, пни и их обрубки валялись как попало близ домика, в котором мы жили летом шестьдесят девятого. Это была довольно живописная картина, и когда Миша уходил на работу (на электростанцию), я с удовольствием лазила по этим обрубкам с фотоаппаратом. Наснимала целую коллекцию подобию диковинных животных, сказочных сюжетов, фантастических сцен. Потом, чуть подправляя тушью и белилами, давала им названия и печатала в «Молодой гвардии» под рубрикой «Подсмотренное в природе».

Почему-то там было очень много породистых коз. У них была длинная шерсть и гордый грациозный вид.



Они свободно ходили, где вздумается, укладывались на пригретые летним солнышком ступеньки нашего домика, и это придавало жилью особое обаяние. У меня много снимков с козами.

Досчатый домик был нашим приютом и любовью. В него никто, кроме нас, не ходил. Вообще на поселении заключенным запереться не разрешается, и в какой бы пикантной ситуации, скажем, мужчина и женщина ни находились, могут зайти без стука — проверить: чем, мол, вы заняты? И это тоже очень унижительно. Как-то зимой во время моего приезда мы жили в двухквартирном домике и слышали, как за стеной охранники посещают такую же, как мы, пару. Они вместе выпивали, смеялись, охрана довольно дружелюбно давала... скабрезные-таки советы. Но к нам даже не стучали — ни разу. И это тоже был знак уважения к Михаилу ВОХРы, в которой, как ни суди, оставалось человеческое. Было понятие — к кому идти с бутылкой и сальными шуточками, а кого не трогать.

Когда за тонкой стенкой «развлекались», мы совсем замирали или говорили тихо-тихо. Однажды Миша сказал: «Знаешь, есть такая научная теория — в природе никогда ничего не исчезает, даже звуки. Вот мы сейчас с тобой говорим, а на стенки наслаивается. И когда-нибудь изобретут приборы, которые все это смогут расшифровать, и наши потомки о нас узнают...»

Через много лет он напишет:

*«Помнишь, я говорил,
Что бессмертие —
Голоса звук!
Во Вселенной в веках
Сохраняются слов наши звуки.
Наша встреча свершилась —
А вечность не знает разлук.»*

Еще он говорил о том, что у нас все будет очень серьезно, и мы обязательно поженимся, но не сейчас — не хочется иметь в таком документе лагерный штамп. И венчаться будем в церкви, и у нас будут обручаль-

ные кольца... Не все получилось по жизни, но какое значение имеют обряды, если нас повенчало гораздо большее — «моя тюремная свобода, твоя свободная тюрьма».

*«Живи. Тепло души храни.
И знай,
Что уходя в дорогу,
Я пережил
Святые дни
Благодаря
Тебе
И Богу.»*

За что?

После первого посещения Глубинного во мне произошло раздвоение. Я понимала, что журналистского материала не будет. Но... оставался неудовлетворенным интерес, и прежде всего — может ли быть такое в нашей стране: человек за не столь ужасную провинность (участие в групповом нападении, отобрали велосипед) отбывать такие сроки? Может, Михаил вместе с Алексеем... привирают?

В редакции я стала брать в работу правовые дела, чтобы в неофициальных беседах с юристами что-то выяснить. И после нескольких попыток получила откровенный ответ.

Уточнив некоторые детали (не называя имен), пожилая женщина-судья сказала, что в пятидесятые годы это быть могло. Тогда судили именно так, и сроки давали большие (у Михаила — 17 лет). При Хрущеве началась правовая реформа. Но дел оказалось слишком много, рассмотреть их просто не было физической возможности. Не было кадров, помещений, нечем платить. Поэтому взяли на пересмотр только 58-ю (политическую) статью, а по остальным всем осужденным автоматически снизили срок до 15 лет. Миша проходил по Сталинскому Указу от 6 июня 1947 года (уголовному) и отбыл 15-летний срок «от звонка до звонка».

Я все-таки сделала еще одну попытку, на этот раз с настоящими именами и адресами. Написала большое письмо в «Комсомольскую правду» — а вдруг их это заинтересует? Ответа не получила.

...А Миша рассказал мне поучительную историю из своей лагерной жизни. Работу ему приходилось выполнять разную, после больницы исполнял даже конторские обязанности. Однажды его послали за документом в кабинет начальника. Того не оказалось на месте, Михаил стал искать нужную бумагу на столе. И... совершенно неожиданно обнаружил положитель-



ный ответ из Генеральной прокуратуры об освобождении заключенного N, датированный годом назад. Он лежал под стеклом, прикрытый сверху другим документом. То есть этот человек уже год как должен быть на свободе. А он даже не знает о радостной вести. Скорее всего, и не узнает — как начальнику в таком промахе сознаваться? А ведь поначалу это был, скорее всего, даже не злой умысел... Может, по пьянке забыл. Проверить начальника, защитить осужденного — некому. Атрофированность человеческих отношений, недобросовестность, служебное хамство.



Новый год

Зимой я приезжала к нему на Новый год, и всегда его в этот момент ставили на ночное дежурство у движка электростанции! Это было не случайно. Поселок перепивался, невзирая на лица и должности, и единственный, на кого можно было положиться (не оставит поселок без света) — Михаил Сопин. Мне одной скучно, иду вместе с ним. В то время очень модной была песня «Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба...». Она преследовала меня в стуке вагонных колес, в шуме самолетного мотора и теперь чудилась вот тут, в гуле электростанции. Но это почти не раздражало, потому что рядом был Миша.

Вышла вдохнуть свежего воздуха... Темень. Где-то тени бродят, чуть ли не в подштаниках. Поголовная пьянка, и надолго. А мы вдвоем — трезвые! И опять наполняюсь гордостью за своего жизненного спутника.

Выпить у нас, конечно, было — «Шампанское» я ему привозила. Но об этом знали только мы двое. Интересно: позднее, в пермской и вологодской жизни он, как говорится... мимо рта не пропускал. А вот там, на поселении, ничего подобного себе не позволял. Почему? — не хотел сливаться с массой.



Прощания

Он мог провожать меня только до поезда. Как я уже упоминала, поезд всегда опаздывал, и мы могли ожидать его и час, и два. Ходили вдоль полотна железной дороги. С обеих сторон вплотную подступала черная стена тайги. Жутковато. Я спросила, есть ли тут волки, Миша сказал:

— Конечно!

И вдруг, махнув в сторону неба, воскликнул:

— Вон волк летит!

Прежде чем оценить юмор, я посмотрела, куда он показывал — как будто волк и в самом деле мог летать по небу.

Там зимним вечером мы увидели «лунный глаз». Полная луна проглядывала через как бы «сошуренные», освещенные той же луной, тяжелые тучи.

Миша прочитал:

«Гуляет ветер,

Зол, колюч,

Сметает,

Землю всю объемя.

И лунный глаз

Сквозь веки туч

Глядит задумчиво на землю...»



Иногда ему надо было спешить на работу, а поезд все не появлялся. Мы были вынуждены расставаться раньше. Он говорил, что пойдет не оглядываясь («Есть такая примета, чтобы встретиться снова»), и всегда это выполнял. А я смотрела вслед — он действительно не оглядывался. У него была очень стройная фигура, наследственная офицерская выправка, а размер ноги — 39. Он говорил, что такая маленькая нога была у «дроздовцев», потому что они набирались из аристократов, и его родня как раз служила в этом роде войск.

Я провожала его взглядом, пока он окончательно не скрывался в темноте или метели. А потом поднимала глаза к небу и отыскивала «лунный глаз».

III.

О разлуке не надо,
Родимая, помни о встрече:
О совместном о нашем,
Предельно коротком пути
И о страшной беде,
Что легла чёрной выюгой на плечи,
От которой уже
Нам с тобой до конца не уйти.
Думай, друг мой, о встрече,
Её беспокойном начале.
Помнишь, шли мы с тобой
Сквозь метельный
Невольничий свей!
От меня ты тогда
Увезла половину печали
И оставила мне
Половину надежды твоей.
И остались мы оба,
Чтоб легче нести свои муки.
Помнишь, я говорил,
Что бессмертие —
Голоса звук!
Во Вселенной в веках
Сохраняются слов наших звуки.
Наша встреча свершилась.
А вечность не знает разлук.

К ...

Не возвращайся, Бога ради,
Не вспоминай мой крестный путь:
Давно сожжённые тетради,
Молитвы мёртвые забудь.
Поверь —
К исходу всё, к исходу! —
Душе и сердцу своему,
В мою тюремную свободу,
В твою свободную тюрьму.
Слепой толпы дурман,
Событий
Вихрь не коснулся нас ничуть.
Мы в жизни Богом не забыты!
А суд общественный забудь.

III.

Так куролесит,
Так вьюжит —
Столбушки снежные,
Колодцы!
Теперь бы только жить да жить,
Да времени не остаётся.
Моей усталой жизни чёлн
Уносит к краю водопада.
Не говори мне ни о чём,
Не утешай, прошу, не надо.
Почти что свёрстаны дела.
Лета разлуку прокричали.
Я не хочу, чтоб ты была
Последней пристанью печали.
Живи. Тепло души храни,
И знай, что уходя в дорогу,
Я пережил
Святые дни
Благодаря
Тебе
И Богу.

